

Михаил Петрович Арцыбашев

Записки писателя



Михаил Петрович Арцыбашев

Записки писателя

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7345740

Аннотация

«Я не фаталист, но одно сектантское поверье возбуждает во мне мрачную уверенность: смерть убирает человека тогда, когда все, и дурное и хорошее, что могла получить от него жизнь, — получено, мера дел его исполнена, и лицо его ясно перед Богом.

И еще думаю я, что абсолютной правды на земле нет, и потому важно не то, о чем пишет писатель, не те истины, которые он якобы открывает, а его Собственная личность, поскольку она велика и своеобразна...»

Содержание

О смерти Чехова	4
Смерть Башкина	10
О Толстом	16
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Михаил Арцыбашев

Записки писателя

О смерти Чехова

Я не фаталист, но одно сектантское поверье возбуждает во мне мрачную уверенность: смерть убирает человека тогда, когда все, и дурное и хорошее, что могла получить от него жизнь, – получено, мера дел его исполнена, и лицо его ясно перед Богом.

И еще думаю я, что абсолютной правды на земле нет, и потому важно не то, о чем пишет писатель, не те истины, которые он якобы открывает, а его Собственная личность, поскольку она велика и своеобразна.

И исходя из этих двух положений, я думаю, что Чехов умер вовремя и должен был умереть.

Однажды, осенней слякотью, проходя по Петербургской стороне, я поднял с панели бумажку, на которой малограмотный человек записал себе те книги, которые хотел взять из библиотеки. Так и было записано: взять то-то и «третий том Чехова-милого человека»!

В то время много говорили о том, что человек звучит очень гордо, и из миллионов хулиганов, добродетельных мещан, солдат, мужиков, купцов, чиновников, попов и царей

стремились вылепить величественный образ человека.

Было потрачено много стараний и много шума, но величественный образ не вытанцовывался и роковым образом, через силу, гордость, своеволие и сверх переживания, впадал в величественную пошлость, желавшую плевать на весь свет и плюющую на собственное самодовольное чрево.

Человека обряжали в плащ индивидуализма, надевали хитон христианина, совали ему в руку красный флаг товарища, пускали голяком анархистом на оголенной земле, а он; одетый и голый, равно упорно оказывался если не зверь зверем, то свинья свиньей.

По-прежнему, рождаясь, человек становился в тягость себе и другим и аккуратно увеличивал собою ряды или плохих людей, от которых жить скверно, или очень хороших, принципиальных, с которыми жить трудновато.

Долго я думал над тем, каким должен быть, наконец, человек, чтобы от его личности не торчали во все стороны острые углы прямо в ребра его ближним. И только найдя эту бумажку, в которой какой-то наивный брат мой от всего немудрого сердца воскликнул по адресу Чехова «милый»! – я кое-что уразумел и нарисовал наконец себе настоящего человека.

Это не величественный образ – и это слава Богу – ибо от величий всех сортов на свет смотреть стало тошно.

Но это Человек, при жизни которого у всех возбуждается желание войти с ним в общение, а после смерти является потребность тихо и вдумчиво говорить о нем, неуловимыми

сближениями перенося из его личности в свою нечто драгоценное.

Таким человеком был Чехов.

Я не успел узнать его лично, выйдя на литературную дорожку чуть ли не в год его смерти, но я знаю его лучше многих из тех, что намозолили мне глаза и душу.

Знаю, ибо всякий, знавший Чехова, при воспоминании о нем становится ласков, задумчиво грустен, интересен и много говорит о нем, торопясь высказать что-то особенное, чему на человеческом языке и названия нет; а все, не знавшие его, спрашивают о нем и, слушая, становятся тише, мягче и как будто лучше.

Обаяние Чехова и должно быть исключительными и носить особый милый характер, ибо в нем соединились все лучшие, милые черты человеческого духа.

Был он тонко остроумен, имел взгляд беспредельно широкий и, не наваливаясь всей тяжестью, как иной слон мысли человеческой, в одну точку, легко проходил мыслью по всем изгибам жизни, в ее радости, горе, поэзии, скуке, глупости, трагичности, сложности и простоте.

Был он добр и не сентиментален, ибо никого не ненавидел, но никого и не облюбовывал свыше меры. Был нежен и не слащав, с ласковой иронией относясь ко всему, что трогает красотой и возбуждает жалость своей слабостью и недолговечностью, как все на земле. Был он культурен во всех мелочах и просто естественен, как ребенок. Был он большой

художник – весело-грустный и грустно-веселый, – и, читая его рассказы, хочется и заплакать, и улыбнуться над тем подневольным трагизмом, имя которому – человеческая жизнь. Был он тих, не гремел, как медь звенящая и кимвал бряцающий, но голос его доходил до самых чутких и самых глухих людей равно.

Всякая мелочь повседневной жизни, к которой он прикасался или которая прикасалась к нему, приобретала особый, задумчиво-милый характер.

Этой весной я посетил дачу Чехова в Ялте.

Были уже сумерки, и в белом доме, от которого видно засыпающее море и шевелящиеся огоньки веселого городка, было тихо, как на кладбище. Словно черные монахи, вышедшие на молитву, стояли внизу кипарисы и тихо шли к морю, а сад, где я сидел в ожидании света и ключей, был какой-то особенный, чеховский: деревья все тоненькие, – стройные, дорожки небогатые и задумчивые, и ходил по ним ручной журавль Чехова, серьезная одинокая птица.

В доме все было, как при Чехове, и казалось, что он только что вышел за дверь. И поражало в этом доме простота и удобство обстановки, в которой было все, что помогает жить, и не было ничего, что мешает, требуя заботы и лишнего почтения. Так когда-то будет жить настоящий культурный человек.

И ушел я, унося в душе дух тихой печали о том, что человек может быть удивительно хорошим, оставить на всем, к

чему притрагивался, особый отпечаток милой одухотворенности и осмысленности, и такой человек умирает, как и все.

И тогда-то мне пришло в голову, что Чехов умер вовремя.

Не в том состояло главное Чехова, что он был писатель и написал «В овгаре», «Дуэль» и другое, и не в том состоял расцвет его личности, что к длинному списку своих произведений прибавил он «Архиерея», «Невесту» и «Вишневый сад», а в том, что он сам был таков, каков был, а не другой.

Проживи он еще тысячи лет – к тому образу, который являет лицо его жизни, не прибавилось бы новых черт, ибо если бы они не были повторением и были действительно новыми, то получился бы новый, образ, – может быть, еще выше, еще лучше, но иной. А за ним исчез бы тот, который мы имеем и цена которому неизмерима.

И напиши он еще тысячу прекрасных вещей и будь они новыми, явись хотя бы развитием бравурной нотки, зазвучавшей в «Невесте», мы получили бы, быть может, писателя еще большего, еще талантливейшего, но утратили бы законченного писателя Чехова, того, который имел свою недосыгаемую грустную прелесть, какую имеют весенние сумерки, какая исчезает при восходе солнца, но драгоценная человеку не менее яркого дня.

Так зазвенит одна струна и порвется с долгим замирающим звуком. Быть может, не порвись она, звук разросся бы в могучую симфонию, сплелся бы с тысячами других звуков и был бы блестящ и звучен, но звук порвавшейся струны не

зазвенел в воздухе, и та особая печально задумчивая красота, которую люди слышат в звуке порванной струны, и не дошла бы до их слуха.

А между тем назревали времена казней, террора, экспроприации, анархизма, восстания масс, свержения мертвых и казни живых идолов, и каждый человек, тем больше, чем больше душа его, должен изменить часть души своей, дав в ней ответ на все муки и кровь проходящего времени.

И потому, когда я слышу, что Чехов умер в расцвете таланта, что еще многое мог бы сделать, что судьба несправедлива и смерть Чехова нелепа, мне странно это слышать.

1906

Смерть Башкина

Мне только тридцать лет, а когда я оглядываюсь назад, мне кажется, будто шел я по какому-то огромному кладбищу и ничего не видел, кроме могил и крестов. Рано или поздно где-нибудь вырастает новая могила, и каким бы памятником ее ни украсили, простым крестом или гранитной громадой, все равно – это будет все, что от меня останется. В конце концов, это и не важно: и бессмертие вещь скучная, и жизнь мало любопытна. Скверно то, что смерть страшна, и, пожалуй, так и не решишься собственноручно отправить себя к черту; будешь жить долго, долго идти по этому кладбищу, которое называют жизнью, и мимо, бесконечно вырастая, все будут мелькать новые кресты. Все дорогое, все милое останется позади, и добредешь до конца один, как перст.

Вот умер и Башкин. Еще одним из тех, с кем вышел я на литературную дорогу, стало меньше.

А впрочем, и хорошо сделал, что умер. Радости в его жизни было так немного, что ее не хватило бы и на один день существования самого среднего обывателя. Времена, когда литература была кладезем всяческой добродетели, давно прошли. Из всех щелей полезло в наш мирок столько дряни, начался такой кабак, такая биржа, что скромному, тихому Башкину было в нем так же хорошо, как васильку, брошенному в пыль на базарной площади. Может быть, в былые вре-

мена тихая прелесть его души и задумчиво нежного дарования оценились бы иначе, но теперь, на большой дороге литературы, в шуме и грохоте купли и продажи, в хитросплетенной борьбе интриг и рекламы нужны крепкие руки, могучая мысль, жестокое сердце. Ничего этого у Башкина не было, и он жил в затоне, бедствовал, надрывался и умер, как подобает русскому писателю, в чахотке.

Мало кто знает его, имя Башкина не займет в литературе большого места. Талант у него был небольшой; вся прелесть его заключалась в том, что сам Башкин был милый, кроткий, искренний до глубины души, хороший человек. Эти личные качества отражались в его работе, как голубое небо в чистой воде, и придавали его маленькому таланту своеобразную, задумчивую прелесть.

Когда-нибудь, если я исполню одно из своих желаний – оставить широкую картину из жизни тех, которых судьба определила быть солью земли, ловцами человеков и которые сделали из литературы вертеп мелких жуликов, – я дам в романе и тип Башкина, верный той светлой памяти, которая осталась во мне о нем. Теперь лицо его еще слишком близко, мелочи воспоминаний мелькают перед глазами слишком пестро. И слишком ярки передо мной три картины, три момента его смерти и похорон, которым обобщения я еще дать не могу.

Я не видал Башкина около года. Одна и та же болезнь у обоих разбросала нас по разным углам. И только за день до

его смерти мы увиделись в последний раз.

Когда я вошел в комнату, Башкин спал: под морфием, странным и страшным сном. Кто-то держал свечу, и желтый свет пятнами колебался на потолке и стенах со странным рисунком обоев. Почему так поражает иногда какая-нибудь мелочь? А я помню, что с жутким чувством посмотрел на эти обои; вокруг всей комнаты, в странных и грубых линиях шли какие-то гитары, и почему-то было неприятно и даже противно думать, что они никогда не играли... Свет ползал по стенам, безмолвно-розовым рядом вытягивали гитары свои тонкие нарисованные шеи, и на постели с хрипом и свистом подымалась грудь человека, который в эту минуту, может быть, со страшной силой боролся где-то на грани жизни и смерти. Быть может, это была агония, и Башкин умер бы, если бы мы его не разбудили. В первую минуту, когда он открыл глаза, Башкин, очевидно, ничего не сознавал. Странен и страшен был взгляд этих прямо на меня устремленных, как будто откуда-то из страшного далека смотрящих глаз.

– Василий Васильевич, – позвал я.

И вдруг взгляд изменился. Как будто что-то ужасное и непонятное исчезло от звука моего голоса. Знакомое выражение ласки и приветия появилось на полумертвом лице, и больной потянулся ко мне навстречу. Я нагнулся и поцеловал его. И вдруг Башкин обхватил мою голову, прижал к груди, в которой хрипело, клокотало и билось что-то, стал нежно-нежно, как мать ребенка, гладить меня по голове. Молча,

как будто с великой любовью, и как будто с нежной жалостью, и будто прося меня защитить и спасти его.

И странно. Я, встретивший Башкина с самого первого его рассказа, всю жизнь помогавший ему, всегда бывший старшим его защитником и покровителем, в эту минуту, слыша, как что-то грозно хрипит и клокочет в его груди, а рука его слаба скользит по моим волосам, чувствовал себя маленьким, ничтожным и слабым.

Не от рождения, а от близости смерти надо считать года человеку. Что знал Башкин, что он пережил, я узнаю еще не скоро. И мой хваленый талант, мое имя, Боже мой, как они были ничтожны перед той последней мудростью великой любви и жалости, которую дала Башкину смерть, стоявшая тут же, рядом с нами.

Когда-то мы много спорили с Башкиным. Мои взгляды известны. Много времени мы прожили вместе, и я, как более сильный, давил его своим авторитетом. Теперь настало время подвести итоги. Один из нас кончал последнюю страницу своей жизни. И я спросил его с жутким любопытством:

– Ну что ж, Василий Васильевич, сошлись или разошлись еще больше мы с вами теперь?

Башкин, не улыбаясь, прямо, светлыми и добрыми глазами посмотрел мне в лицо.

– Разошлись, – сказал он. – Надо любить и жалеть всех. Что ж, может быть, он и прав. Не знаю.

Но, кроме злости и ненависти, что могло быть у меня в

душе, когда мы провожали гроб Башкина в могилку.

Как мало было провожатых! Среди огромного белого поля, по колена в снегу, заносимые метелью, какие маленькие и жалкие, должно быть, казались мы. Белый гроб медленно колыхался впереди, метель секла и трепала две-три цветные ленточки венков, ничего не было видно кругом, кроме белого поля да неустанно несущейся белой метели. Я шел за гробом, проваливался в снег и в сотый раз прочитывал надпись на венке:

– Дорогому отцу и мужу от жены и сына. – Это был маленький и жалкий веночек, и надпись была не на ленте, а на жестяной дощечке, какую прибивают на крестах последнего кладбищенского разряда.

Я читал и думал о том, что у меня в кармане лежат две-три рубля, с трудом собранные мною для семьи Башкина. Думал о том, что жена Башкина еще не знает о его смерти, думал о том, что она родила почти в тот же день, когда он умер, думал еще о том, что же будут делать его «жена и сын» дальше? Думал еще о том, что ведь это все же «похороны писателя», и, ей-Богу, странно было в эту минуту требовать у меня любви и жалости к тем миллионам купцов, царей жизни, зверей и мерзавцев, которые что-то жрали, ворча и рокоча утробой громадного города, смутно синевшего на краю горизонта, за пологом неустанной метели.

Да будь они трижды прокляты все!

А нечто и светлое осталось в душе от этих похорон. По-

чему светлое, когда в сущности – ерунда, мелочь и случайность – не знаю, а что-то осталось.

Когда мы опускали гроб в могилу, вырытую на крестьянском кладбище, метель прошла. Был светлый, белый, чистый зимний день. Пахло морозом, и в круглых белых шапках стояли кресты. Стая голубей Бог знает откуда налетела на могилу. Трепеща крыльями, голуби носились между нами. Один все порывался сесть на гроб и, отлетая, садился на ближайший крест. Красиво было.

Может быть, оправдание всего мира и есть в красоте? Может быть, все существует только для того, чтобы была красота?

Красота голубей, белого зимнего дня, белого гроба, тихой грусти, прелести умершей милой души Башкина.

Петербург, 1909

О Толстом

Если бы в то время, когда Моисей шел умирать на гору, а Иисус возносился на небо, существовали газеты, божественные легенды вряд ли дошли бы до нас в виде легенды. Вместо них были бы бюллетени. В этих бюллетенях была бы правда, но правда о предсмертной изжоге, икоте и судорогах. Нужна ли человечеству эта пошлая правда? – спрашивает один публицист.

Странный и легкомысленный вопрос: правда никогда не бывает пошлой. Она может быть страшной, отвратительной или жестокой, но пошлость не живет в правде. И прежде всего и всегда надо знать правду, хотя бы неполную, хотя бы только о предсмертной изжоге. Даже изжога даст больше, чем самая сладостная легенда, ибо легенда есть обман, и каким бы возвышающим ни был он, неизбежно сомнение и разочарование, а за ними полное отчаяние.

Боже мой, как далеко были бы мы теперь от того топкого, не дающего никакой опоры ногам человека места, на котором стоим, если бы человечество шло путем правды, какова бы она ни была, а не бросалось из стороны в сторону за болотными огнями красных вымыслов.

Многие, в газетных статьях, письмах и личных беседах, спрашивали меня, почему я не принял участия в похоронах Толстого?

Я никогда не стремился в Ясную Поляну, когда Толстой был жив, а теперь, когда он умер, стало известно одно из его последних писем. «Вечные гости, кинематографы, авиаторы и проч. сделали отвратительной мою жизнь, я должен отдохнуть...»

Конечно, это говорилось не о тех, нищих духом, которые шли к Толстому за разрешением мучительных сомнений и хотели воплотить или воплощали в своей жизни заветы его учения. Такие делали его жизнь полной смысла, и таких он хотел и не мог не хотеть видеть. Это были родные его по духу, и сердце его радовалось и болело вместе с ними.

О чем стал бы говорить с ним я? Какое удовольствие могло доставить старику посещение писателя, по духу искренно чуждого его вере?.. Удовольствие спора? Нам не надо было для этого видеть физиономии друг друга. Я был известен ему как писатель, и если бы мои взгляды на жизнь интересовали его, он мог бы прочесть мои книги, как я прочитал его. Заставлять же его интересоваться мною, заставлять спорить я не хотел. В моей жизни он сыграл слишком большую роль, чтобы я не чувствовал к нему благодарности и не жалел бы его. И как жаль, что так же не поступали все те, кто лез к нему без всякого определенного дела, наполнял его дом суетой дворцового приема, ходил за ним по пятам и, наконец, — «отравил ему жизнь»! Бог знает, сколько раз Толстой мечтал о том, чтобы черт убрал всех этих назойливых мух, лезущих ему в глаза и уши, чтобы осталось возле него несколько че-

ловек, и в тихой беседе с ними, в уединении яснополянском, мог бы он пожить, подумать и помолиться по-своему.

Ну а что касается собственно похорон, то, если кому доставляет удовольствие возиться с трупами, посыпать могилки елочкой, таскать веночки и голосить вечную память – дело их. На это тьма охотников, мне же это ни к чему. Поменьше бы возни с трупом, побольше бы уважения к живому. А то при жизни, точно ризы Христовы, по живому телу делили Толстого на гениального художника и плохого мыслителя, в эпоху революции провозглашали его выжившим из ума старикашкой, всю жизнь терзали напоминаниями о разладе между жизнью его и учением, лезли в глаза, терзали, оскорбляли, а после смерти завыли, как волки в поле.

Одна барышня рассказывала мне, как в день смерти Толстого прибежал к ней некий студент и сказал, схватившись за голову: как мы будем жить, как мы будем дышать без него!.. А когда дня через три жестокая барышня невинно осведомилась, как его здоровье и как ему дышится, студент удивился, а поняв злость вопроса, жестоко обиделся... Ничего, дышит и по сей день!.. Это не пустяк, и студент этот – яркий выразитель многих тысяч весьма далеких от наивности людей. Сколько было споров, с участием премьера Плеханова, между прочим о том, страшно или не страшно жить с Толстым и без Толстого, сколько известных людей писало, что им легче жить с Толстым, что они счастливы, живя в одно время с ним, а между тем никто из них в своей жизни, и как челове-

ка, и как писателя, не принял ни одного из заветов Толстого и после смерти его продолжал жить совершенно так, как и при жизни его.

То, что Толстой умер, меня нисколько не поразило и даже не тронуло. Всякий человек умирает, умру и я сам, между нами только та разница и есть, что он умер на несколько лет раньше. Если это страшно, то страшно постольку, поскольку есть смерть, и тогда страшно, если и кошка сдохнет, а что именно Толстой умер... так не изумляться же тому, что и такие тузы живут и умирают?.. Было человеку восемьдесят три года – естественное дело, что умер. Рано или поздно, должен был умереть. Вы признайте, что смерть есть, что она страшна, что все ваши гипотезы и идеалы идут перед ней насмарку, что бессмертие души – выдумка, что с этим нельзя бороться красивыми словами и остроумными предположениями, ну – тогда ужасайтесь заодно и в частности смертью Толстого. А если верите, что Человек живет для будущего человечества, что это для него очень важно что творит он волю его Пославшего, что ждет его переход в лучший мир, одним словом, во что угодно, но такое, что якобы наполняет мертвую пустоту смерти, тогда и не ужасайтесь. Чего ради?.. Ведь этим ужасом вы насмарку ведете всякую веру в вашу искренность... Иначе чего же плакать? Он-то уж конечно и волю Пославшего по мере сил творил и для блага будущего послужил много, и если уж кому по заслугам и достоинству довлеет лучший мир, то, наверное, ему... не вам же!.. Нечего и огорчаться:

исполнил человек свое предназначение, и слава Богу!

Иные и чувствовали, что тут явная нелепость, что вера во что бы то ни было будущее – в человечество или рай – несовместима с плачем и воплями, но нашли лазейку: страшно не то, что Толстой умер, а то, что ушла великая душа, совесть великая, и без нее нам трудно.

Великая душа и совесть не ушли из мира и не могли уйти. Ушел труп, маленький старичок, которого отныне уже нельзя увидеть и пощупать, которого никаким фотографическим аппаратом не поймашь и голоса которого ни в какой фонограф не запрешь. А душа великая и совесть великая остались: где же вы дели книги Толстого?.. Кажется, все его учение выражено так полно, что полнее и нельзя. Не осталось ни одного темного места, не о чем спросить, как на этот счет думал Толстой? Яснее ясного изложены его заповеди. И кому действительно нужен Толстой как совесть, пусть развернет его книги и на каждый вопрос найдет ответ: живешь плохо потому-то, будешь жить правильно, если не будешь делать того-то, должен жить так-то и во имя того-то.

Да и какая совесть был Толстой? Не по правде живете, не по-Божьи, говорил он... не лги, не прелюбодействуй, не причиняй зла другому, не вешай, люби и т. д. Все это в каждой школьной прописи найти можно, а уж в Евангелии подавно. Впрочем, это я нарочно: на самом деле совесть-то была... Только это была совесть Толстого и в совести другим не годилась: то, что он писал, в смысле морали так же слабо и

неустойчиво, как и всякая мораль, ибо повешено в воздухе, на предвзятой воле Пославшего. Но таков был голос его собственной совести, по крайнему его разумению. Это было так же свойственно ему, как седые волосы в старости. И то, как он жил, как до самого последнего дня не угашал духа, к чему-то стремился, что-то искал, болел о правде и страдал от собственной неправоты, вся жизнь Толстого и его неукротимый дух точно были живым упреком для всех праздных болтунов, всех лгущих, всех тупых и сонных, навозящих землю в бессмысленном спокойствии свиней. В этом смысле Толстой был не совесть, а упрек совести, но, увы, как мало прислушивались к этим упрекам те самые, которые потом голосили над его могилой: «умерла совесть наша»!.. Ее у них и не было.

Вообще какая поразительная по своему отталкивающему безобразию была эта «смерть Толстого»! Не самая смерть-простой и в простоте своей таинственный акт, – а то, что делалось кругом нее. У меня было такое впечатление, точно вышвырнули труп Толстого на дорогу и собаки во все стороны растащили его кости... Чего только тут не было! Столько лжи и лицемерия, корыстных расчетов и интриг, что их хватило бы опоганить два таких земных шара, как наш. Одни, которые в своей жизни не приняли ни одного слова из веры Толстого, изобразили такое отчаяние, точно потеряли собственную голову... другие, которые по духу врагами Толстого себя открыто выявляли, запели в унисон осанну и веч-

ную память... третьи приспособили его кончину для целей пропаганды идей, чуждых Толстому... четвертые, кои соглашались с Толстым в отрицании обрядностей церковных, искренно их отрицали и смотрели на молебны и панихиды, как на комедию, страшно испугались, как бы Толстого перед смертью не вернули в лоно церкви, и потом в бешенство пришли, что по нем церковных панихид служить не хотят... пятые его трупом, как дубиной, начали драться с правительством.

И вся эта трагикомедия, отнюдь не божественная, произвела на меня такое впечатление, что хватит для размышлений на всю жизнь.

Вот жил и умер Толстой.

Много людей жило и умерло, но и жизнь, и смерть их не вызвали в нас и миллионной доли того волнения, которое возбудил он. Почему это?

Он был великий талант? Это так. Но много было великих талантов, и даже те, кто поклонялся Толстому, должны признать, что были, таланты еще больше его. Я, например, Достоевского ставлю выше Толстого, а другие еще слава Богу, если вознесут над ним Пушкина или Шекспира... много и таких, которые искренно предпочтут Оскара Уайльда, что ли... И каждый со своей точки зрения прав, и для каждого

тот писатель выше и талантливее, кто ближе ему по духу.

Мыслитель?.. Как мыслителю, если под этим словом подразумевают человека, нашедшего мысль, привнесшего новое откровение, Толстому цена-грош. Увы, это факт. По отношению к Христу Толстой был то же, что, например, Писарев по отношению к Дарвину, или зауряд-профессора к Ньюто-ну. Ни одно из его многочисленных писаний на философско-религиозные темы не стоит и трех страниц из Евангелия. Слабость его в трактовке христианской морали была поразительна. Он до того путался в мелочах, до того загромождал мысль пустяками, что для водружения истины о неугашении духа плотью доказывал неприличие дамских джерси и несомненный вред табака.

Как моралист он был узкий догматик, упершийся в одну точку, лишивший свой разум свободы дальнейших исканий, остановившийся в блаженном успокоении, что истина найдена!.. Мораль его была неосуществима, он сам не мог с ней ужиться, и не потому, что был слаб, как пытался оправдаться, а потому, что этого и нельзя было сделать. Нельзя, как нельзя стать абсолютно свободным в мире, где все зависит одно от другого, где нет пустыни, в которую можно было бы уйти, и где каждый глоток воздуха уже есть насилие над дыханием какой-нибудь твари.

Мир основан на взаимоистреблении всего живущего, и единственный закон вечен и общ – закон борьбы за существование... нельзя двигаться иначе как в плоскости его.

Можно только выработать правила общежития, относительно разного для всех, но тогда вместо туманных богов проще принять формулу взаимного удобства. А раз начнешь эту формулу выработать, то тут сейчас же и вернешься на то же место, с которого вышел, – к насилию. Ибо всегда будут люди, хотя бы по психическим особенностям выскакивающие из всяких норм. Слишком широк человек, и сузить его нельзя.

Подвижник? Где же были его подвиги?.. Увы, он сам прекрасно сознавал, что их нет. Подвиг усмотрели в его последнем уходе, но ведь мы же слышали из его собственных уст, что жизнь его была отвратительной. Подвиг подвижника это отказ от счастья, от радости, во имя чего бы то ни было. Толстой же именно, как о счастье, мечтал об этом уходе и не ушел, а бежал от того, что было слишком для него отвратительно и тяжело непереносно. Не как подвижник светел лицом, бежал он, а как смертельно замученный человек. Было жалко, было трогательно, но так же жалок и трогателен каждый солдат, бегущий из дисциплинарного батальона.

И вот для меня ясно, ибо я ищу только правды, какую бы печальной она ни была, что Толстой, как талант, мыслитель, моралист и подвижник только, еще не имел права на то исключительное внимание, которым окружил его мир.

А между тем так было. Десятки лет смотрели и прислушивались. Отбросив в сторону то, что прицепилось к его жизни, как потом к похоронам, только потому, что Толстой уже

был великим и нельзя было не считаться с фактом, мы все же видим, что человек этот чем-то покори́л мир, стал выше всех, как какой-то вселенский патриарх.

Значит, было в нем что-то особенное, чего нет во всех других людях.

Большой или малый, но не первый – не первый талант, не первый моралист, не первый философ – он стал головой выше всех современников, приблизившись к Христу и Будде.

Чуть ли не все ныне живущие люди, с тех пор как стали сознательно воспринимать окружающее, чувствовали близ себя кого-то громадного, кого-то давившего на весь мир. Это был Лев Толстой.

Многие его не признавали, многие над ним издевались, многие с ним спорили, многие его проклинали, но не было человека, который совершенно не считался бы с ним. И это еще при жизни... честь, которой не удостоился сам Иисус.

Из тех, кто жил с ним в одно время, ни цари, ни папы, ни поэты, ни философы, ни ученые, ни полководцы, ни народные вожди, ни герои, ни прекрасные женщины, никто не мог даже приблизительно приковать к себе внимание людей так, как сделал это Лев Толстой.

А между тем этот человек был несчастен.

Бог дал ему все, чего может желать человек: богатство,

славу, любовь, здоровье, долголетие, детей, происхождение, талант, ум, личную обаятельность, безопасность и даже кончину мирную и безболезную.

А он писал, что легче было бы ему быть обесчещенным и преступным, но тогда было бы угрюмое величие отчаяния, а теперь – он писал одному из заключенных в тюрьму своих последователей: «Вам больно, а мне стыдно!»

Если бы он был несчастен по внешним условиям – мог бы роптать, если бы был бездарен – мог бы извинить себя бессилием, если бы был гоним – мог бы бежать.

Но он избегнул всех внешних бед и пал духом настолько, что признал свою жизнь отвратительной.

Судьба и тут была милостива к нему: он умер.

Жизнь Толстого – ужас для человечества.

Знаю, что многие, прочитав эту фразу, если и не упадут в обморок, то только потому, что будут убеждены в моем собственном падении. А между тем если в этом что-либо и есть страшное, то вовсе не в смысле хулы на Толстого.

Ничуть не бывало. Если, глядя на Толстого, я чувствую стыд и ужас, то отнюдь не за Толстого, а за него, за себя, за всех людей, живших, живущих и имеющих жить. Страшно и стыдно за человека вообще, больно за ту жалкую роль слепого щенка, которую всучила ему природа и которую в смеш-

ной гордости своей он пытается воздвигнуть в цари и перлы мироздания.

Стыдно так, как если бы я думал, что лицо мое светоносно и поза величава, а подошел к зеркалу и увидел, что передо мною стоит весьма мизерная фигурка, в которой есть все, кроме как раз величия. Стыдно, как бывает стыдно офицеру, крепко верящему в своего товарища как блестящего представителя своей касты и внезапно убедившемуся, что этот – лучший из всех – просто-напросто – дурак.

Толстой больше, шире и глубже всех нас. Среди людей он поистине велик. Это была душа громадного диапазона, и нет той силы, слабости, красоты, безобразия, правды и фальши, которой бы не было в этой душе. Но, увы, это был молодец среди овец.

В громадном масштабе он переживал то, что в миниатюре переживает каждый человек. И в том, что в нем, как в увеличивающем зеркале, каждый видел все, что есть в нем самом, был секрет всеобщего внимания и ужас значения его жизни.

Многими вопросами занимается человек. Он думает, как лучше устроить хозяйство, как любить женщину, как относиться к другим людям, как лучше жить, но главным образом и все время он думает о цели своей жизни.

Вот рождается человек, страдает, мыслит, любит, ненавидит, делает тысячи мелких и больших дел, а потом умирает. Умирает и уходит куда-то во тьму непонятного. Так уходит, что уже нет и знака о нем, ни шагу дальше нельзя проследить

за ним. И невольно появляется мучительный вопрос: зачем же он родился, страдал и умер?.. Знаем мы, конечно, что не зря: нет пустоты в мире, и ничто не приходит и не уходит из пустоты; все, что есть, составляет звено неразрывной цепи, все неизбежно и необходимо; если бы природе не нужен был человек, она не создала бы его, не личное же одолжение это с ее стороны; вырви не то что человечество, а одного комара из этой цепи, и произойдет, не может не произойти, мировая катастрофа. Но в этом смысле все – равно, и нет разницы между человеком и солнцем, мухой и камнем, водородом и человеком, и неизвестно, души ли скотов пойдут вверх, а души человеков вниз, или души скотов вниз, а души человеков вверх.

И вот этот вопрос о преимуществе души человеческой над всем остальным, или о ее равенстве, из века в век, каждый день и час, явно или тайно, во всех делах его волнует и тревожит человека. Ибо только при условии этого преимущества падает страх смерти и является ясная и определенная цель существования.

Ради того, чтобы поверить в это свое преимущество, люди придумали, что Бог дал человеку душу свободную, которая если и не может изменить ход вещей, то, по крайней мере, позволяет ему относиться к ним по свободному убеждению, протестовать или преклоняться.

Я думаю, что это не так. Я глубоко убежден, что даже и порывы протеста фатально и неуклонно вытекают из действия

общего мирового закона, и человек подчинен ему даже в самых темных тайниках своей души. Слепая или разумная сила, но она тащит человека, как шар земной муравья на своей поверхности, как водопад каплю, как ледяная глыба замерзший в ней камушек.

Но ни с каким выводом нельзя помириться, пока не увидишь его исполнение собственными глазами. А так как за черту смерти не проникал ни один живой глаз и никто не возвращался оттуда, то и неизбежно вечное искание, вечное томление духа человеческого.

И вот стоит перед человечеством этот проклятый вопрос о его миссии миссии, – ради которой он мог бы жить и страдать, успокаивая себя исполнением воли Пославшего. Если есть миссия, есть цель и предназначение, то стоит жить и терпеть до конца. Если нет, если цель вне сознания человеческого, если загадка не равна человеческой душе, если человек-простой винтик в машине и после смерти подлежит простой переплавке в другую часть машины, тогда не стоит волноваться, не стоит поддерживать жизнь на земле, и лучше пустить себе пулю в лоб, а шар земной взорвать.

Два пути наметили люди к разрешению этого вопроса: один – путь догадок, предположений, гипотез, более или менее остроумной выдумки; другой – путь наблюдения над фактом в пределах нашего сознания, путь изучения, опыта, сопоставления того, что есть. И по первому пути идут трусы, создатели религий, прячущие как страусы голову под крыло,

чтобы не видеть ужасающей пустоты. По другому движутся люди смелые, не боящиеся взглянуть правде в глаза, готовые принять даже пустоту, если в конечном итоге получится она.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.